



Шэрон Ковальски

Правонарушительницы

Женская преступность и криминология в России (1880–1930)



Современная западная русистика

Шэрон Ковальски
Правонарушительницы.
Женская преступность
и криминология в
России (1880-1930)
Серия ««Современная
западная русистика» /
«Contemporary Western Rusistika»»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68458456

*Правонарушительницы. Женская преступность и криминология в
России (1880-1930) / Шэрон Ковальски ; [пер. с англ. А. Глебовской]. :
БиблиоРоссика; Бостон / Санкт-Петербург; 2021
ISBN 978-5-6045354-8-6*

Аннотация

Исследование Ш. Ковальски рассказывает о становлении советской криминологии как науки с учетом ее включенности в общий европейский контекст, а также ее роли в трансформации раннесоветского общества. Автор сосредотачивает свое внимание

на анализе женской преступности и социальных установок, лежащих в основе подходов к ее изучению.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Содержание

Благодарности	7
Введение	11
Революция и советское уголовное право	29
Женская преступность и криминология	40
Обзор глав	46
Часть первая	55
Глава первая	55
Криминально-антропологическая школа	62
Конец ознакомительного фрагмента.	72

Шэрон Ковальски
Правонарушительницы.
Женская преступность
и криминология в
России (1880–1930)

Памяти Флоренс Айзенберг

Sharon A. Kowalsky

Deviant Women

Female Crime and Criminology in Revolutionary Russia,
1880–1930

Northern Illinois University Press

2009

Перевод с английского Александры Глебовской



© Sharon A. Kowalsky, text, 2009

© Northern Illinois University Press, 2009

© А. В. Глебовская, перевод с английского, 2021

© Academic Studies Press, 2021

© Оформление и макет. ООО «Библиороссика», 2021

Благодарности

Я хочу выразить свою глубочайшую признательность целому ряду организаций и частных лиц, без чьей финансовой, научной и моральной поддержки я не смогла бы довести эту работу до конца. Щедрые гранты Университетского центра международных исследований (UCIS) Университета Северной Каролины в Чепел-Хилл (UNC), Международного комитета по исследованиям и обмену (IREX), Программы содействия индивидуальным исследованиям продвинутого уровня, Национальной образовательной программы в области безопасности (NSEP) Международного фонда научных исследований имени Дэвида Борена и Региональной программы научного обмена Американских советов по международному образованию (ACIE/ACTR) позволили мне совершить несколько поездок в Россию. Дополнительная поддержка аспирантуры Университета Северной Каролины и Фонда Дорис Квинн (исторический факультет Университета Северной Каролины) позволили мне написать диссертацию, которая легла в основу этой книги. Кроме того, мне очень помогли замечания, предложения и ободряющие слова участников многочисленных конференций, проводившихся Конференцией Юга по славистике (SCSS) и Американской ассоциацией развития славистики (AAASS), равно как и Огайской студенческой конференцией Центра Хавигхерста в Универси-

тете Майами (шт. Огайо) «Социальные нормы и социальные девиации в советскую и постсоветскую эпоху» (2001), где я представила свои предварительные соображения по поводу этой работы.

В работе над этим проектом, занявшей несколько лет, мне содействовали многие люди. Прежде всего хочу выразить благодарность и признательность Дональду Райли: его все-сторонняя поддержка, энтузиазм и интерес к моей работе, равно как и прозорливая критика, позволили довести замысел от концепции до воплощения. Джудит Беннетт, Дженни Бернет, Рон Боброфф, Уиллис Брукс, Дэвид Гриффитс, Марко Думанчич, Майкл Дэвид-Фокс, Джон Кокс, Уоррен Лернер, Энн Лившиц, Роза Магнусдоттир, Пола Майклс, Мартин А. Миллер, Джеки Олич, Линн Оуэнс, Кристин Руан, Эндрю Стикли, Пол Стронски, Кейт Траншел, Джон Уоллес, Стюарт Финкель, Пол Хагенло, Крис Хамнер, Стив Харрис и Дэн Хили своими ценнейшими замечаниями и точными вопросами способствовали формированию, кристаллизации и уточнению моих представлений. Сотрудники грантовых организаций, а также библиотек и архивов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Саратове и по всем Соединенным Штатам помогали мне четко и продуктивно работать во время поездок. Поддержка и ободряющие слова коллег из Университета Джорджтауна, Университета Северной Каролины в Чэпел-Хилл и Техасского университета А&М в Коммерсе позволили мне довести работу до конца. Я безмер-

но признательна Бетси Хеменуэй, Дэну Орловски и Майклу Лерну за готовность выкроить в плотном рабочем графике время для того, чтобы прочесть части рукописи. Подробные и продуманные комментарии и предложения авторов двух анонимных издательских рецензий оказались чрезвычайно полезными. Кроме того, хочу поблагодарить сотрудников Университетского издательства Северного Иллинойса Мэри Линкольн, Алекса Шварца, Эми Фарранто и Сюзан Бин за неизменную поддержку и профессиональное усердие. И, наконец, я всей душой признательна своей замечательной семье за поддержку и любовь – моей маме, которая всегда помогала мне и в горе, и в радости, остальным родственникам, которые лучше многих других понимали, что я делаю и зачем, моему мужу Хорхе и его родным, которые с теплотой приняли в свою семью ученого, и моей бабушке Флоренс Айзенберг, которая любила жизнь, путешествия и науку. Ее памяти я и посвящаю эту книгу.

Части этой книги уже были опубликованы. Фрагменты и замыслы того, что стало Главами 3 и 5, были опубликованы в статье «Кто ответственен за женские преступления? Гендер, девиантность и развитие советских общественных норм в революционной России» (Who's Responsible for Female Crime? Gender, Deviance, and the Development of Soviet Social Norms in Revolutionary Russia // *The Russian Review*. Vol. 62. № 3. July 2003. P. 366–386). Менее развернутый вариант Главы 5

был ранее опубликован под названием «Почему матери совершают убийства: советские криминологи и детоубийство в революционной России» (Making Sense of the Murdering Mother: Soviet Criminologists and Infanticide in Revolutionary Russia // Killing Infants: Studies in the Worldwide Practice of Infanticide / Ed. by Brigitte Bechtold, Donna Cooper Graves. Lewiston, NY: Edwin Mellen Press, 2006. P. 167–194). Благодарю издателей за разрешение включить в книгу переработанные варианты этих публикаций.

Все ошибки и упущения в тексте остаются, разумеется, на совести автора.

Введение

«1-го октября 1923 г. в 7 часов утра Настя Е., 24 лет, изувечила своего мужа, ампутировав ему член». Так психолог А. Е. Петрова начинает излагать историю преступления Насти, опубликованную в сборнике «Преступный мир Москвы» (1924) под редакцией известного криминолога, преподавателя юриспруденции в Московском государственном университете профессора М. Н. Гернета – в сборник вошли статьи о преступности и преступниках столицы. Петрова поясняет: в 1916 году семнадцатилетняя Настя приехала в Москву из деревни в Тамбовской губернии. Поработала домашней прислугой, потом устроилась швеей. Стремясь к саморазвитию, стала посещать школу для взрослых, в 1919-м записалась на курсы для рабочих, где и познакомилась с будущим мужем. В интимную связь они вступили в июне 1922 года, но отношения оформили только в феврале 1923-го; к этому времени Настин гуляка-муж уже заразил ее венерическим заболеванием, тем самым лишив способности к деторождению. За день до трагедии Настя наведлась к любовнице мужа и увидела их ребенка – его внешность не оставляла сомнений в том, кто его отец. Хотя в ребенке и воплощалась неверность мужа, Настя, взяв его на руки, ощутила прилив материнских чувств. Она не знала, стоит ли бросить мужу прямое обвинение в измене, терзалась по поводу собствен-

ного бесплодия – даже стала помышлять о самоубийстве. В тот вечер муж дважды принудил Настю к соитию, что вызвало у нее сильные болевые ощущения по причине болезни и связанного с ней инфицирования. Ночью нервы и лихорадка разыгрались лишь сильнее. К утру, в полубредовом состоянии от боли, она увидела обнаженный член спящего мужа, а на тумбочке у кровати – нож для нарезания хлеба. Подумав: «Вот причина всего», она схватила нож и, сама не понимая, что делает, одним движением отсекла пенис¹.

Разбирая психологическое состояние Насти в момент совершения преступления, Петрова приходит к выводу, что в данном случае речь идет о случае с «психикой *примитива*, которая, путем длительного, непрерывного, напряженного интеллектуального усилия, вышла из пределов примитивного уровня развития» [Петрова 1924: 84]. По логике этих рассуждений, душевное и физическое потрясение вызвали в Настиной «примитивной» психике «случай *короткого замыкания*», то есть она впала во временное помрачение и в этот момент искалечила мужа [Петрова 1924: 83]. К сходному выводу приходит и психиатр Н. П. Бруханский, включивший собственный анализ того же дела в «Материалы по сексуальной психопатологии» (1927): якобы Настино «примитивное происхождение» и «узость сознания» и определи-

¹ [Петрова 1924: 82–83]. Автор отмечает, что пенис был отсечен в трех четвертях сантиметра от основания. Бактериологический анализ ампутированного члена доказал присутствие запущенной гонореи. После нескольких попыток его удалось вернуть на место, все функции восстановились.

ли ее криминальное поведение [Бруханский 1927:14]. Перечисляя Настины свойства, и Петрова, и Бруханский подчеркивают ее крестьянское происхождение, низкий уровень интеллектуального развития и неспособность к полноценному участию в общественной жизни. Кроме того, они отмечают, что важной причиной Настиного душевного разлада стало ее бесплодие, то есть способность к сексуальной жизни, но без репродуктивной составляющей. Эти факторы заставляют их сделать вывод, что Настина «примитивность», в сочетании с обстоятельствами ее жизни, особенно с тяжелым венерическим заболеванием, и стали контекстом для совершения преступления. Именно в таком ключе Бруханский выступил 10 ноября 1924 года на заседании Московского губсуда, и суд согласился с ним, постановив, что Настя действовала в состоянии временной невменяемости, в связи с чем снял с нее все обвинения².

В 1920-е годы Настино дело получило широкую известность в кругах советских криминологов. И для нас эта история может послужить удобной отправной точкой для разговора о женщинах-преступницах, сущности женской преступности и об отношении к женщинам в советском обществе раннего периода. Настин поступок включал в себя

² Там же. С. 27. В [Naiman 1997] анализ преступления Насти, предложенный Бруханским, рассмотрен как пример потребности «кастрировать» инфицированных представителей общества, расплодившихся в результате введения НЭПа (то есть капитализма), с целью изъятия таких тлетворных элементов из советской жизни.

основные черты того, что советские криминологи считали характерными свойствами женских преступлений: оно было совершено на бытовой почве, вытекало из женской репродуктивной физиологии (в данном случае – бесплодия) и отражало определенный тип примитивного несдержанного и повышенно-эмоционального поведения, которые принято было связывать с крестьянской жизнью. В совокупности своей эти элементы создавали образ женщины-преступницы и описывали суть женских преступлений, через призму которых криминологи и трактовали женскую преступность. В их трактовке прочитывалась прямая связь между женской сексуальностью, физиологией и преступностью, чем определялись и типы преступлений, на которые способны женщины, и мотивации их правонарушений. Свое отношение к преступницам криминологи распространяли на всех женщин, поскольку источники женской преступности усматривали в женской физиологии как таковой. Тем самым криминологи напрямую связывали женщин с потенциально-девиантной сексуальностью, а также приписывали им отсталость и примитивность, характерные для сельских жителей³. Из их разборов женских преступлений следовало, что женщинам приходится преодолевать невероятные трудности, чтобы стать подлинными сознательными политически активными совет-

³ Связь между женщинами, деревней и отсталостью отмечена рядом исследователей. Наиболее явственно дихотомия между женщиной-крестьянкой и мужчиной-горожанином представлена в агитационных плакатах. См. [Bonnell 1991; Bonnell 1993].

скими гражданами. В свете такого отношения к женской преступности, женщинам приписывались определенные типы поведения, характеризовавшиеся несоответствием между идеалами, ожиданиями и потенциалом революционных перемен с одной стороны и реальностью повседневной жизни женщин – с другой.

В этой книге суть революционных перемен рассмотрена через призму криминологии и женской преступности. В течение переходного периода, между Октябрьской революцией и началом сталинской эпохи, русские люди пытались осмыслить, что значит быть «советскими». Что именно это подразумевает, было не вполне ясно с самого начала. Создавая и пересоздавая свои идентичности, приспособляясь к большевистской идеологии, которая открывала то одни, то другие возможности и насаждала все новые ограничения, жители Советской России постоянно расширяли определение и сущность новых бытовых норм и практик⁴. Их мнения, взгляды и приоритеты, в сочетании и взаимодействии с жесткими реалиями повседневного выживания, помогали формировать определенные элементы советской социальной политики.

Одной из областей, в которой этот процесс проявлялся

⁴ Историки все активнее занимаются вопросом идентичности в Советской России раннего периода, и с точки зрения построения идентичности как механизма, применявшегося в бытовых практиках, и с точки зрения разных вариантов определения гражданства и принадлежности. См., в частности, [Alexopoulos 2003; Fitzpatrick 2005; Halfin 2000; Hellbeck 2006; Kiaer, Naiman 2006].

особенно отчетливо, стало семейное право. В рамках построения общества, свободного от буржуазной эксплуатации, большевики приняли в 1918 году новый семейный кодекс, с помощью которого собирались проводить эмансипацию женщин и искоренять традиционную патриархальную семью, для чего была проведена либерализация законов о браке и разводе: церковное венчание было заменено гражданской регистрацией брака, развод теперь мог получить каждый из супругов, причем без дополнительных обоснований, аборты были легализованы, государственная опека над сиротами сделала усыновления ненужными, родителям была вменена в обязанность забота о детях в меру их возможностей, вне зависимости от семейного положения. При том что эти положения семейного кодекса по идее должны были облегчить процесс, целью которого было объявлено полное отмирание семьи, их применение на практике вызвало как у чиновников, так и у ученых ряд вопросов касательно того, не приведут ли они к дестабилизации общества, поскольку законодатели пытались примирить представления о новой свободной женщине со старыми идеалами женской чистоты, сострадательности, слабости и подчиненности. Возник страх, что радикальные нововведения, вроде предельно простой процедуры развода, приведут к распушенности нравов и безответственности, распространению болезней и падению нравственности⁵. Это способствовало накалу общественных

⁵ О страхах, сексуальности и социальной политике в период НЭПа см.

дебатов по поводу семейного кодекса и привело к первому его пересмотру в 1926 году. Переработанный кодекс урезал власть закона над браком, сделав процедуру развода внесудебной и признав гражданские союзы, но при этом обеспечил женщинам более высокую степень защиты, расширив права на алименты, а кроме того, подтвердил важность семьи, легализовав процедуру усыновления⁶.

К концу 1920-х суровые реалии переходного периода поставили под вопрос утопические цели семейной политики советского режима, а государство, в связи с отсутствием у него необходимых ресурсов, перестало брать на себя полное бремя социальной поддержки, как предполагалось изначально⁷. После прихода к власти Сталина, ускорения индустриализации и интенсификации строительства социализма (это началось в конце 1920-х годов) государство все чаще стало

[Bernstein 2007; Carleton 2005; Fitzpatrick 1978; Healey 2001; Naiman 2008].

⁶ См. [Goldman 1993]. Среди исследований, посвященных семейной политике в российском и советском контекстах, см., в частности, [Engel 2004; Hoffman 2000; Northrop 2002; Ransel 1978; Waters 1992].

⁷ Например, ограниченность государственных ресурсов не позволяла решить постоянную и тяжелейшую проблему с беспризорниками. Даже легализация усыновлений в кодексе 1926 года, направленная на то, чтобы снять с государства часть бремени по заботам об этих детях, не стала кардинальным решением. См. [Ball 1994]. Э. Вуд отмечает следующее: «Руководители, отвечавшие за формирование политики большевиков, пытались снять с государства ответственность за все, кроме самых важных отраслей экономики, в процессе отказываясь от целей в области социального обеспечения, поставленных революцией, и ставя под вопрос готовность новых правителей выполнять декларируемую ими задачу по эмансипации работниц и крестьянок» [Wood 1997: 124].

апеллировать к традиционной семье как источнику стабильности и институту, способному выполнить задачи, которые государство выполнять не может или не хочет. После очередного пересмотра семейного кодекса в 1936 году в нем был закреплён новый подход, в рамках которого социальная ответственность перекладывалась на граждан и семьи; были введены ограничения на развод, возвращён запрет на аборт. Женщины, которым приходилось одновременно и работать, и воспитывать большое число детей, все отчетливее несли на себе двойное бремя, не получая в полной мере той бытовой поддержки, которую обещали им большевики⁸. К середине 1930-х годов утопическая цель отказа от патриархальной семьи была подменена задачей укрепления семьи как традиционного общественного института, который способен был служить интересам сталинского государства. Отказ от ряда наиболее радикальных элементов изначальной большевистской доктрины объясняли сложными обстоятельствами, в которых на тот момент оказалось советское государство, сопротивлением населения этим переменам и первостепенной важностью ускорения промышленного роста, что требовало, чтобы женщины производили и промышленную продукцию, и потомство⁹. Все эти факторы способствовали пересмотру политики, однако процессы осмысления того, что означает быть «советским», нашедшие отражение в измене-

⁸ См. [Buckley 1989; Evans 1981; Goldman 1993; Hoffmann 2003].

⁹ См. [Goldman 1993: 341–343].

ниях семейного кодекса (а также в реакции на эти изменения, выразившиеся в динамике женской преступности), делаются более понятными, если рассмотреть эти сдвиги в контексте переосмысленной и расширенной «культурной революции»¹⁰.

Ученые используют термин «культурная революция» как ключевое понятие для понимания сдвигов от выглядевших радикальными, утопическими и идеалистическими начинаний Ленина к консерватизму и террору Сталина. Большевикам и их попутчикам одних только политических перемен было недостаточно: они пытались также изменить человеческое поведение и отношения, установив свою культурную гегемонию во всех сферах социальной жизни. В этом контексте термином «культурная революция» описываются трансформации в социальной и культурной политике, равно как и в соответствующих практиках, обусловленные идеологическим видением большевиков. Термин «культурная революция» часто используется для описания кардинальной переориентации советской политики в рамках сталинского перехода к социализму¹¹. Более того, стремясь отделить эксцессы сталинизма от утопизма Октября, многие ученые смогли отыскать точки, в которых Сталин якобы отступил от идеалов революции. Ярким примером служат рассуждения Н.

¹⁰ Как пишет К. Кларк, революционная «экосистема» сложилась и сформировалась как отклик на изменяющиеся обстоятельства. См. [Clark 1995].

¹¹ См. [Fitzpatrick 1978]. См. также [Fitzpatrick 1992].

Тимашеффа, который в 1946 году писал о явлении, которое у него названо «Большим Отступлением» – то есть о том, что внешне выглядело разворотом советской социальной политики на 180 градусов в середине 1930-х. Тимашефф полагает, что сталинское государство отказалось от своих революционных целей перед лицом фашистской угрозы, а также в попытке заручиться более прочной поддержкой населения. В последнее время это толкование было опровергнуто другими учеными. Помещая советскую систему в контекст развития современного европейского государства тотальной слежки после Первой мировой войны, ученые утверждают, что Сталин никогда не отказывался от целей революции. Скорее, он кооптировал и приспособил традиционные культурные институты для содействия социалистическому государству, причем именно потому, что верил: социализм уже построен. В подобной интерпретации сталинизм представляет собой скорее консолидацию идей революции, чем их предательство¹².

При этом «культурную революцию» надлежит рассматри-

¹² Д. Хоффман анализирует аргументацию Тимашеффа и сравнивает ее со схожими представлениями Троцкого о революционном предательстве. Он пишет: «Сталинизм отнюдь не был частичным отступлением или возвратом к дореволюционному прошлому, он оставался, как для партийного руководства, так и для советских граждан, системой, преданной идеалам социалистической идеологии и построения коммунизма. <...> Достижения социализма позволяли использовать традиционные институты и культуру для поддержки и усовершенствования нового порядка» [Hoffman 2003: 3–4]. См. также [Kotkin 1995; Holquist 1997]. Доводы Тимашеффа приведены в его работе: [Timasheff 1946].

вать лишь как часть более масштабных революционных изменений. М. Дэвид-Фокс, например, усматривает в культурной революции «неотъемлемую часть более широкого спектра изменений, который включал в себя быт, поведение и нового советского человека». В такой трактовке культурная революция становится неотделимой от стремления большевиков модернизировать Россию и уходит корнями в самые истоки большевистских революционных перемен¹³. Она включает в себя как радикальные, так и консервативные элементы и является попыткой переустроить общество по новым правилам, используя традиции прошлого в качестве основы, сохраняя их и приспособляя к новым условиям.

В таком контексте изменения семейной политики в середине 1930-х годов представляют собой не отход от социалистической идеологии, а скорее кульминацию протяженного процесса выработки советских ценностей и кодификации давно существовавших воззрений в единую советскую соци-

¹³ [David-Fox 1999: 193]. В этой статье Дэвид-Фокс ставит под сомнение парадигму «культурной революции», впервые предложенную Ш. Фицпатрик в [Fitzpatrick 1978]. Некоторые исследователи, прежде всего К. Кларк и Д. Жоравски, также говорят о длительной советской «культурной революции», ведущей свое начало еще от Первой мировой войны. См. [Clark 1995; Joravsky 1978]. Действительно, некоторые историки полагают, что природа сталинского режима уходит своими корнями в военный опыт большевиков. Их безжалостная готовность к использованию насилия создала опасные прецеденты. Более того, грядущему развитию событий способствовали ожесточение населения за время длительного военного периода (1914–1921) и его реакция на политику большевиков. См. [Fitzpatrick 1985; Holquist 2002; Koenker, Rosenberg, Suny 1989; Raleigh 2002; Transchel 2006].

альную политику. На протяжении переходного периода суть и форма советской системы и ее политики в сфере семьи была полностью открыта для обсуждения. Когда большевики приступили к строительству социализма в России, их понимание социальных норм и представления об обществе часто вступали в противоречие с тем, какие возможности были доступны женщинам, во что женщины верили и с какими реалиями сталкивались после революции. Рассматривая примеры женской преступной девиантности, мы выясним, как преемственность и динамика в социальной сфере переходного периода влияли на выработку и кодификацию новых норм одобряемого поведения, что облегчило последовавший отказ от наиболее радикальных положений семейного кодекса, когда режим перешел к насаждению того, что в точности означало быть «советским».

Представление о протяженной во времени культурной революции подразумевает важность преемственности в период преобразований. Источником и основой для сложившегося во время НЭПа отношения к женской преступности и к женщинам стали паневропейские направления мысли конца XIX века, которые были адаптированы под нужды модернизации государства в период после Первой мировой войны. Развитие советской криминологии как дисциплины свидетельствует об использовании этих интеллектуальных течений, равно как и о том, что профессионалы приспособлива-

лись к советскому режиму и сотрудничали с ним¹⁴. В течение всего переходного периода целая когорта специалистов в разных областях знаний – социологов, статистиков, психиатров, юристов, врачей (пенологов, антропологов и патологоанатомов) – изучала динамику преступлений и мотивы преступников с целью разработать наиболее эффективные меры искоренения преступности в советском обществе. Совместными усилиями они превратили криминологию в полноправную научную дисциплину, в которой нашли отражение как наработки западноевропейских ученых в этой области, так и их собственные робкие шаги дореволюционного периода. Криминология, возникшая после Октябрьской революции, сохранила дореволюционные течения мысли, но при этом сама себя называла «советской». Основопологающее значение этих старых идей для советской криминологии, особенно в отношении женской преступности, подчеркивает преемственность между дореволюционным и советским обществом. На определенном уровне прогрессивный потенциал социалистической идеологии постоянно вступал в конфликт – это отражено в том, что именно советское государство считало девиантным поведением – с пережитками прошлого, которые большевики пытались уничтожить, вво-

¹⁴ Среди недавних работ, посвященных взаимоотношениям между советским государством и образованными представителями советского общества, см. [Heinzen 2004; Finkel 2003; Miller 1998; Nelson 2004]. О ранней советской криминологии см. [Shelley 1977; Shelley 1979; Solomon 1978; Шестаков 1991; Иванов, Ильина 1991].

дя в обиход новые нормы подобающего «советского» поведения. Исследования преступлений давали ученым возможность оценить, как население движется к социализму и далеко ли еще до успешного построения социалистического общества. В то же время в криминологии сохранялись более глубокие основополагающие установки, выработанные еще до революции – они также повлияли на выработку курса советского социалистического развития.

Эта динамика определяла и то, как в криминологии трактовалась женская преступность. В объяснениях женской преступности, предлагавшихся криминологами в 1920-е годы, подчеркивается исходная «примитивность» и «отсталость» женщин, непонимание ими принципов социализма, неспособность или нежелание участвовать в общественной жизни наравне с мужчинами. Если быть гражданином СССР значило вести политическую и общественную деятельность, то, по мнению профессионалов, женщины еще не стали полноправными гражданками, а их дистанцированность от современной советской жизни являлась результатом тесной привязки к сельскому и домашнему укладу. Связывая женскую девиантность с качествами, присущими крестьянам и сельскому укладу, криминологи предполагали, что крестьянское мировоззрение не просто противоречит образу новой советской женщины, но и является ожидаемым и естественным его проявлением¹⁵.

¹⁵ Э. Вуд полагает, что невежественная сельская жительница, «баба», считалась

Анализируя женскую преступность, криминологи принимали в расчет не только обстоятельства переходного периода и собственную озабоченность НЭПом и построением социализма, но и общую для всей Европы озабоченность в отношении модернизации общества и изменения положения в нем женщин¹⁶. Их трактовка женской девиантности помогала развеять страхи, вызванные хаосом и неопределенностью, поскольку подкрепляла традиционные патриархальные представления об общественном положении женщин, что, в сочетании с жизненными реалиями переходного периода, заставляло поставить под вопрос как новое юридическое положение женщин после эмансипации, так и эффективность радикальной общественной и семейной политики большевиков в деле построения нового социалистического общества. По сути, эти воззрения, в которых дореволюционные теории сочетались с социалистической идеологией и сложным отношением к НЭПу, внесли свой вклад в построение гендерной иерархии, ставшей параллелью классовой иерархии, которая определила нормы одобряющего поведения и ограничила для женщин возможность стать «советски-

своего рода противоположностью новой советской женщины во всех ее проявлениях. Мне хотелось бы подчеркнуть, что существует куда более широкая интерпретация той роли, которую типично сельские свойства играли в представлениях о советской женщине. См. [Wood 1997; Attwood 1999; Clements 1985].

¹⁶ Например, в своем исследовании, посвященном межвоенной Франции, М. Л. Робертс утверждает, что страхи касательно изменения положения женщин можно было развеять, приспособив традиционные женские качества хозяйственности и материнства к новому послевоенному контексту. См. [Roberts 1994].

ми».

В этом ракурсе Настино злодеяние служит ярким примером того, в каком ключе в ранней советской криминологии рассматривалась женская преступность. Согласно большевистской идеологии, с построением социализма преступность должна была исчезнуть. Соответственно, любые преступления, совершенные в переходный период, являлись проявлениями пережитков «старого образа жизни», который все еще не отмер в «примитивном» сознании отсталого (и по преимуществу сельского) населения страны. В Настином случае в качестве ключевых факторов, толкнувших ее на преступление, исследователи называли «примитивность» – производную от общественно-классового происхождения – и психическую нестабильность, связанную с сексуальностью. Настина биография – переезд в Москву из провинции, вступление в ряды рабочего класса, учеба на курсах для рабочих – представляла собой модель, одновременно типичную для растущего городского рабочего населения 1920-х годов и поощряемую большевистским режимом. И все же, хотя Настя и пошла по верному пути советского просвещения, она не сумела порвать со своими крестьянскими корнями. Ее поступок отмечен эмоциональностью и жестокостью, которые исследователи связывали с сельской жизнью и относили к бытовой сфере, типичной для женских преступлений. Несмотря на все Настины старания, сельская «примитивность» не позволила ей преодолеть крестьянскую

отсталость и успешно влиться в современную городскую общественную жизнь.

На криминальное поведение Насти также повлияла и женская физиология: в исследованиях подчеркивается, что временное умопомрачение ее было отчасти спровоцировано венерическим заболеванием и бесплодием. Оказавшись в ситуации, в которой она лишилась возможности иметь детей, следовать «естественным» материнским инстинктам и выполнять репродуктивную функцию, Настя инстинктивно обрушила свою ярость на источник своих бед. Соответственно, специалисты полагали, что Настя действовала под влиянием сексуального расстройства и материнских инстинктов, которые не находили выхода: у нее не было возможности вырваться за пределы собственной ущербной физиологии, стать матерью, а значит, и подлинной новой советской женщиной.

Классовая принадлежность и сексуальность во многом определяли взгляды на женскую преступность в переходный период, при этом они же служили смягчающими обстоятельствами при назначении наказания и при осмыслении масштабов женских преступлений. В Настином случае суд пришел к выводу, что по причине временной потери рассудка, усугубленной крестьянской «примитивностью» и болезненным физиологическим состоянием, она не отдавала себе отчет в своих действиях и, следовательно, не может нести за них уголовную ответственность. Как в научной, так и в

судебной практике при рассмотрении репродуктивной роли женщин и их общественного происхождения преобладало представление, что женщины все еще остаются отсталыми и невежественными, подчиненными собственной причудливой сексуальности, а значит, не несут полной ответственности за свои действия и, соответственно, заслуживают снисхождения. В попытках сформировать представления о нормах поведения в новом советском государстве судьи и криминологи подчеркивали, что только последовательное проявление снисходительности, сострадания, а также культурно-просветительская работа – то есть донесение до сознания женщин всех преимуществ социализма – могут наставить их на путь превращения в сознательных, ответственных, активных членов современного советского общества. В то же время в работах криминологов подчеркивалось, что женщины пока еще далеки от достижения этой цели и – что видно из безуспешного стремления Насти к самосовершенствованию – прогрессивный потенциал социализма в отношении женщин пока еще использован далеко не полностью.

Революция и советское уголовное право

Октябрьская революция и Гражданская война стали суровыми подтверждениями того, что на последних этапах своего существования царский режим провалил практически все политические и социальные реформы. Не пытаясь видоизменить существующую политическую систему, большевики воспользовались возможностью и создали новую, основанную на их понимании марксистских принципов социального равенства. Большевики обещали земельную реформу, выход России из Первой мировой войны и повышение уровня жизни, что чрезвычайно импонировало как населению, уставшему от войны, так и интеллигенции, которую раздражала медлительность модернизации в России. По ходу следующих десяти лет большевики перепробовали самые разные подходы к внедрению в жизнь своих социальных и политических взглядов, консолидируя свою власть с помощью новых радикальных законов, целью которых было переустройство основ российского общества, отказ от старых убеждений и создание новых общественных отношений.

Подход к законодательству большевики до определенной степени позаимствовали у своих предшественников. В XIX веке реформаторы пытались исключить из российского законодательства самодержавный произвол. В 1830-е годы был

запущен крупный проект кодификации законов, а кульминацией стали законодательные реформы 1864 года, которые привели к возникновению независимых судов и судов присяжных. Новые судебные органы оказались на удивление эффективными, превратившись в форумы как для урегулирования споров, так и для выражения общественного мнения: на слушание самых громких дел собирались целые толпы. Однако верховенство закона скоро сделалось неудобным для царского правительства, особенно в свете того, что в начале XX века власти столкнулись с нарастающей волной терроризма. Введя экстренные меры и применив административные санкции, царский режим отказался от определенных составляющих своих законодательных реформ в интересах сохранения политического контроля¹⁷. Большевики презирали закон даже сильнее, чем цари. Они пользовались законодательным процессом как гибким инструментом, манипулятивным образом подстраивая его под достижение собственных идеологических целей.

В ходе Гражданской войны большевистские законодательные практики определялись нуждами войны и момента – режим пытался удержаться у власти и одновременно перестроить российское общество. Проводя законы и декреты, нацеленные на искоренение «буржуазной» эксплуатации, – такие как семейный кодекс 1918 года, – большевики в значительной степени опирались на насилие и принужде-

¹⁷ См. [Geifman 1993; Wortman 1976].

ние¹⁸. Однако введение в 1921 году Новой экономической политики положило начало иному подходу к строительству социализма и к определению роли закона. НЭП, задуманный Лениным как шаг назад от жесткой политики военного коммунизма – такое название получили жестокие методы экспроприации, применявшиеся большевиками во время Гражданской войны, – легализовал рыночные элементы в рамках социалистической экономики с целью ее оздоровления после разрушительного периода 1914–1921 годов. Хотя НЭП способствовал экономическому росту, он с самого начала вызывал сильное недовольство у многих большевиков. С точки зрения тех из них, кто думал прежде всего о построении социалистического государства, НЭП, как возврат к определенным капиталистическим принципам, способствовал усилению роли социальных элементов, не совместимых со строительством социализма. Этим большевикам представлялось, что движение в сторону социализма, которое вроде как началось в рамках принудительных мер военного коммунизма, полностью остановилось¹⁹.

Хотя экономическая политика в период НЭПа больше напоминала капитализм, чем социализм, на культурном фронте одновременно предпринимались усилия по созданию новых «пролетарских» форм художественного творчества и но-

¹⁸ О Гражданской войне см., в частности, [Brovkin 1994; Holquist 2002].

¹⁹ О НЭПе см., в частности, [Ball 1987; Brovkin 1998; Fitzpartick, Rabinowitch, Stites 1991; Pethybridge 1990].

вых «социалистических» форм организации общества. В годы НЭПа культурная революция, начавшаяся в полной мере с Октябрьской революции 1917 года, продолжала поощрять свободу творчества, хотя и с определенными идеологическими ограничениями. Эксперименты в музыке, драматургии, литературе и живописи, целью которых было вовлечение простых людей в процесс творчества и создания высокой культуры, протекали в русле авангарда и конструктивизма. Кроме того, по всей России предпринимались попытки повысить уровень образования и грамотности – таким образом большевики распространяли революционные идеи в сельской местности. Возрождение экономики и рост общественной стабильности в годы НЭПа способствовали развитию новой советской культуры, которая начала распространяться среди населения России²⁰.

НЭП также положил начало новому периоду в истории советского законодательства. Несмотря на Гражданскую войну, большевики смогли почти полностью упразднить законодательную основу царизма. Они отменили старые законы, но не спешили создавать новые, прибегая по мере надобности к выпуску чрезвычайных декретов. Большевистская идеология включала в себя «отрицание законности»; в соответствии с чем законодательство представлялось буржуазным

²⁰ О преобразованиях в сфере культуры при большевиках см., в частности, [Brooks 2000; Gleason, Kenez, Stites 1985; Kenez 1982; Maliy 1990; Nelson 1990; Stites 1991; von Geldern 1993].

эксплуататорским институтом, целью которого было поддержание системы классового насилия, – считалось, что, подобно государству, преступности и семье, он отомрет после построения социализма. Этот «анти-законный» подход привел к тому, что государство стало полагаться на «революционную сознательность» судей или на личные представления судей о том, как лучше применять революционные принципы для достижения правосудия, – это казалось надежнее стандартизованных норм: в результате правоприменение становилось все более произвольным и идеологически ангажированным²¹. К началу эпохи НЭПа стало ясно, что в период до построения социализма все-таки потребуются какие-никакие законодательные стандарты. Правоведы осознали, что суды и судьи нуждаются в руководстве по применению уголовного права: «революционная сознательность» оказалась слишком непоследовательной (а приговоры – слишком мягкими) для того, чтобы декреты большевиков воплощались в жизнь²².

Новый уголовный кодекс РСФСР, принятый в 1922-м и переработанный в 1926 году, свидетельствовал о важности закона для выработки приемлемых моделей советского поведения в годы НЭПа. Сочетая в себе положения, где при-

²¹ Об отношении к закону и преступности в СССР см. [Beirne, Hunt 1994; Sharlet 1978; Solomon 1996].

²² О необходимости в кодифицировании законов в период НЭПа см. [Solomon 1996: 17–27].

водились общепринятые определения правонарушений, со статьями, направленными против идеологических «врагов» режима, уголовный кодекс содержал указания по формированию общественного поведения и вводил единообразие в вопросе вынесения приговоров. Новый кодекс во многом основывался на проекте кодекса 1903 года; при этом включал в себя большевистские идеологические принципы и приоритеты. При том что в нем содержались конкретные рекомендации касательно вынесения приговоров, он по-прежнему во многом опирался на юридическое здравомыслие и «революционную сознательность» судей – предполагалось, что они способны назначить справедливое наказание. Кроме того, кодекс отличался явственной классовой предвзятостью: обещал защищать рабочих от эксплуатации и признавал, что на правонарушение способны толкнуть такие обстоятельства, как голод или нужда, – они считались смягчающими²³. В этом отношении уголовный кодекс оставлял достаточную свободу в вопросах правоприменения, равно как и гибкость при установлении «общественной опасности» преступника, то есть того, насколько серьезную угрозу он представляет для социальной стабильности, – это определялось судом, исходя из сущности правонарушения, осознания правонарушителем последствий своих действий и его классово-

²³ Ibid. P. 27–33. См. также [Портнов, Славин 1981: 140–150]. Многие ученые, занимавшиеся вопросами законодательства и криминологии в 1920-е годы, участвовали в создании Кодекса 1903 года, равно как и его более поздних советских вариантов (1922 и 1926 годы).

го происхождения²⁴. В ранние годы существования социалистического общества действовали политические революционные трибуналы, где в основном судили классовых врагов большевизма, однако, что касается обычных преступников, основными инструментами советского правосудия стали суды, уголовный кодекс и система исполнения наказаний.

Помимо прочего, в рамках советской пенитенциарной политики, в годы НЭПа в российской тюремной системе внедрялись прогрессивные теории наказания. Прогрессизм, получивший в конце XIX века широкое распространение в кругах европейских пенологов, исходил прежде всего из того, что заключенных можно перевоспитать и реабилитировать с помощью исправительных работ. Отправляя преступников за решетку, прогрессисты стремились не только защитить от них общество, но и перевоспитать правонарушителей, чтобы они больше не нарушали закон. Советские пенологи декларировали свою цель приспособить преступ-

²⁴ Действительно, психиатр Л. Г. Оршанский утверждал, что существует множество общественно-опасных преступлений, причем большинство из них совершаются вследствие создания нового образа жизни, однако общественно-опасных преступников мало. См. [Оршанский 1927: 630–631]. См. также [Краснушкин 1926: 6; Krylenko 1927]. Крыленко отмечает, что «в уголовном кодексе рассмотрены все действия, направленные против этого порядка, и определены меры самозащиты, которые новому обществу необходимо принять в зависимости от степени опасности соответствующего действия <...> Широкие полномочия судов по определению степени применимой самозащиты общества <...> или степени общественной опасности правонарушителя характеризуют фундаментальное отношение советского уголовного права к преступнику» [Krylenko 1927: 180].

ника к новой жизни в советском обществе через принудительный труд, культурно-просветительскую работу и образование. Они подчеркивали, что перевоспитать можно любого преступника; как отметил один исследователь, советская власть обязана предоставить всем правонарушителям

юридическую возможность вернуться к честной трудовой жизни, открыть для них выход, дать им надежду на возрождение. Только с такими коррективами карательная политика Советской власти приобретет цельность, полноту, логическую законченность [Янчевский 1921: 16].

Исправительная функция тюремного режима реализовывалась через индивидуальный подход к происхождению, жизненным обстоятельствам и потребностям каждого заключенного (в связи с чем исследования преступности и преступников превращались в необходимый элемент пенитенциарной политики), а это, в свою очередь, давало каждому заключенному – по крайней мере, в теории – возможность превратиться в честного, активного и ответственного члена советского общества²⁵.

²⁵ Успешному применению прогрессивных пенитенциарных теорий в СССР мешали плохое техническое состояние тюрем, недостаток кадров, скудное финансовое обеспечение и различие в подходах между центром, местными властями и администрацией тюрем. С приходом Сталина к власти роль принудительного труда поменяла функцию с реабилитации преступника на удовлетворение нужд государства. При этом культурно-просветительская деятельность оставалась центральным аспектом пенитенциарной политики по ходу всех 1920-х годов и в течение первой пятилетки ([Wimberg 1996]). См. также [Adams 1996;

При том, что советская пенитенциарная теория выражала идеалы и взгляды большевиков относительно нового социалистического общества, применение положений уголовного кодекса отражало в себе скрытые представления, на которых в раннесоветский период основывались реакции на антиобщественное поведение. Народный комиссариат юстиции (НКЮ) призывал судей действовать в соответствии с «революционной сознательностью», однако, выслушивая обстоятельства дел, неопытные и малообразованные чиновники зачастую полагались на нормы крестьянского обычного права и традиционную нравственность²⁶. Половая, классовая и социальная принадлежность правонарушителей становились важными факторами и в практике правоприменения, и в отправлении советского правосудия, поскольку личность правонарушителя во многом определялась через понятия девиантности и «сознательности». Например, юристы обозначали определенные преступления как «мужские» или «женские», «городские» или «сельские», приписывая правонарушителям соответствующие свойства и основывая на этом свое понимание мотивов и сущности их поступков. В результате преступления разбивались на категории, исходя из личности преступника, который представлял человеком изначально испорченным, не способным к изменениям

Solomon 1980].

²⁶ О крестьянском обычном праве см. [Lewin 1985; Frank 1987; Frierson 1987]. О судьях в советских судах раннего периода см. [Zelich 1931: 328].

и сопротивляющимся прогрессивному перевоспитанию, которое предлагала ему большевистская пенитенциарная система. Хотя криминологи неизменно подчеркивали, какую большую роль общественно-экономические факторы, материальные обстоятельства и «старый образ жизни» играли в преступности в годы НЭПа, базовое их понимание гендерной и классовой природы преступности свидетельствовало о понятиях не то чтобы не совместимых с социалистической идеологией, но вызывающих вопросы по поводу того, насколько эффективной советская социальная политика окажется в долгосрочном плане.

К концу 1920-х НЭП стал вызывать все более громкую критику. После смерти Ленина в 1924 году вопрос о новом лидере КПСС, равно как и о направлении советской политики в будущем, остался нерешенным. Внутрипартийные дебаты касательно экономической составляющей НЭПа и сущности революционного проекта способствовали дроблению на фракции и формированию союзов – ведущие большевики боролись за контроль над партией и государством. Встав во главе государства и консолидировав в своих руках власть в период сдерживаемого кризиса, Сталин положил НЭПу конец. Он сплотил своих сторонников вокруг идеи «социализма в отдельно взятой стране» и инициировал, в рамках первого пятилетнего плана, переход к стремительной индустриализации, которая сопровождалась коллективизацией сельского хозяйства. Одновременно он запустил процесс созда-

ния лояльной бюрократии и новой «советской» интеллигенции, выработал подходы, которые определили будущее развитие страны, и положил конец дебатам и поискам альтернативных путей построения социалистического государства – в том числе и в сфере изучения преступлений [Fitzpatrick 1979]. В новом сталинском государстве закон сохранил свою важную роль, но только для того, чтобы обеспечить завесу «социалистической законности», под которой скрывалось все более произвольное и идеологически ангажированное его применение. При этом важно помнить, что, хотя первый пятилетний план и выросшая из него сталинская система и представляли собой решительный поворот по сравнению с тем, что им предшествовало, основы того, что определяло направление и форму советского развития, были заложены намного раньше.

Женская преступность и криминология

Большевики пытались придать обществу и семье социалистический облик, при этом женские преступления оставались той сферой, где старые представления о семье и положении женщины вступали в конфликт с новыми советскими идеалами и государственными установками и где преемственность между прошлым и будущим становилась особенно явственной. Изучение маргинальных общественных элементов, точек, где ломаются социальные нормы, оказалось чрезвычайно плодотворным для понимания поведенческих норм, мировоззренческих позиций и методов социального контроля²⁷. В революционном контексте границы между нормальным и девиантным представляются особенно важными для понимания того, как в том или ином обществе переформулируются, для нужд нового общественного порядка, понятия о надлежащем поведении.

При том что определения преступления в целом отражают понимание приемлемых общественных норм, разговор о женских преступлениях в частности позволяет оценить ос-

²⁷ Исследователи, занимающиеся периодом раннего Нового времени, крайне эффективно используют преступность в качестве мерила более общих свойств общества. См. напр. [Muir, Ruggiero 1994; Davis 1983; Ginzburg 1982; Maza 1993].

новополагающие и фундаментальные представления о сущности и структуре общества. В конце XIX и начале XX века при анализе женской преступности как в России, так и в Западной Европе, исследователи склонны были теснее связывать ее с семьей, чем мужскую преступность. Более того, хотя женщины становились преступницами реже, чем мужчины, исследователи считали, что их поступки более вредоносны для социальной стабильности именно в силу их тесной связи с областью семейного. Женщины-преступницы поступали вразрез с тем, как положено вести себя женщинам в их роли матерей и кормилиц. Тем самым женщины-преступницы подрывали образ нравственно безупречной женщины, а в расширительном смысле – и фундаментальные общественные основания. Более того, исследователи женской преступной девиантности зачастую проводили прямую связь между женскими уголовными преступлениями и женской половой физиологией, которая требовала надзора и контроля для того, чтобы женщины оставались в границах допустимого поведения²⁸. В контексте революционной России анализ женской девиантности выявлял сложное взаимовлияние семейной политики, развития социализма и норм допустимого поведения. Оценка изменений уровня женской преступности стала для обществоведов и партийных чиновников ин-

²⁸ См. [Feinman 1986: 3–4]. Другие примеры современного анализа женской преступности: [Klein 1994; Naffine 1996; Messerschmidt 1986; Simon 1981; Smart 1977]. См. также [Walkowitz 1992; Shapiro 1996].

струментом измерения поступательного движения советского общества к социализму, уровня социалистической сознательности населения и роли семьи в советском обществе.

В первые послереволюционные годы большевики уделяли особое внимание освобождению женщин от векового патриархального гнета. Продолжив вектор наделения женщин политическими правами, заданный Временным правительством в июне 1917 года, большевики приняли в 1918 году новую конституцию, которая декларировала полную эмансипацию женщин и гарантировала им политическое и юридическое равенство с мужчинами. В Коммунистической партии был создан женотдел, он был призван заниматься проблемами и нуждами женщин и способствовать осознанию женщинами всех преимуществ социализма. Более того, большевики подталкивали женщин к вступлению в ряды рабочего класса, обещая создать ясли и детские сады при предприятиях, увеличить выплаты на детей и предоставить доступ к новым видам трудоустройства. Ведение домашнего хозяйства и воспитание детей переводились в публичную сферу, тем самым высвобождая женщин из тенет быта и давая им досуг для иных видов деятельности. В результате женщины становились выборными представительницами в местных и центральных органах власти, участвовали в политических собраниях по месту работы, получали образование в вузах и техникумах. Воодушевляемые большевистской пропагандой, в 1920-е и 1930-е годы женщины получали самые раз-

ные профессии, становились, в частности, шоферами, механиками, пилотами и трактористками – при том что в иных обстоятельствах эти профессии были бы сочтены «мужскими»²⁹.

Однако хотя на первый взгляд большевистская идеология декларировала равенство полов, описания специалистами женской преступности вскрывали глубинные гендерные различия, определявшие понимание этими специалистами сущности и специфики положения женщин в обществе. Криминологи исходили из общественно-экономических трактовок преступлений, однако в поисках объяснений женской преступности охотно прибегали к доводам психологии и биологии. Специалисты считали, что физиологический цикл делает женщин более подверженным криминальным влияниям. Более того, влияния эти напрямую связаны с дореволюционной нравственностью и традициями, которые якобы были искоренены большевистской революцией. Согласно доводам криминологов, женская преступность носит чрезвычайно устойчивый характер, сохраняя традиционные формы и сущность, несмотря на радикальные общественные перемены, привнесенные большевизмом, и новые возможности участия в общественной жизни, которые открыла перед женщинами большевистская политика. В женской преступности

²⁹ О женской эмансипации и отношении большевиков к женщинам см. [Clements, Engel, Worobec 1991; Goldman 2002; Massell 1974; Pushkareva 1997; Пушкарева 2002; Stites 1990; Wood 1997]. Вопросы пропаганды и визуальной репрезентации женщин рассмотрены в [Bonnell 1997].

первых лет существования советского общества не было ничего особенно уникального: она следовала канонам, уже отмеченным как дореволюционными российскими специалистами, так и их коллегами из других частей Европы. Однако толкование женских преступлений теперь обуславливала специфическая революционная идеология; она устанавливала реакцию как государства, так и криминологов на женскую девиантность и определяла способы оценки перемен в российском обществе через акцент на важность женского образования, назначения адекватного наказания женщинам-преступницам, а также на то, до какой степени женщин следует винить за их противоправные действия.

Существует целый ряд исследований, посвященных всевозможным аспектам преступности и закона в поздний период существования Российской империи, однако только в последнее время ученые начали заниматься правонарушениями в советском обществе досталинского периода. В работах западных и российских исследователей, посвященных быту, затрагивается тема преступлений, в особенности хулиганства, в 1920-е годы, однако женская преступность как явление по большей части не исследована³⁰. Я надеюсь, что своей книгой смогу заполнить этот пробел, поместив жен-

³⁰ О преступности в царской России см. [Frank 1999; Frierson 1987; Sutton 1984]. Среди недавних исследований, посвященных преступности в 1920-е годы, [Naiman 1990; Лебина 1999; Лебина, Чистиков 2003; Мусаев 2001]. Среди работ о женской преступности в России и в СССР: [Антонян 1992; Frank 1996; Shelley 1982; Талышева 1998].

скую преступность в широкий контекст революционных событий, модернизации и общественного развития. До меня при исследовании женской преступности предпринимались попытки объяснить колебания в ее уровне, которые криминологи фиксировали в 1920-е годы³¹. В моей книге, напротив, интерпретация криминологами преступности используется для исследования процесса социальных изменений и создания поведенческих норм в раннесоветском обществе.

³¹ [Shelley 1982]. Шелли убеждена, что рост уровня женской преступности, который криминологи наблюдали после революции, стал непреднамеренным результатом изменения общественной ситуации и иных кардинальных перемен.

Обзор глав

При рассмотрении социальных норм раннесоветского общества и положения в нем женщин я опираюсь на два основных предмета: развитие советской криминологии и криминологический анализ женских преступлений. Часть I посвящена возникновению криминологии как дисциплины в контексте модернизации государства. В главе 1 прослежены эволюция и развитие принципов криминологии и в особенности – теорий женской преступности, причем они рассмотрены в свете нарастающей радикализации интеллектуального климата Российской империи поздних лет ее существования. В главе 2 описано становление криминологии как научной дисциплины после Октябрьской революции, прослежены взаимоотношения между государством и обществом, где специалисты, создавая профессиональные организации, пытались выкроить себе определенную автономию от режима, который стремился руководить всеми сферами общественной жизни.

В Части II внимание сосредоточено на криминологическом анализе специфики женской преступности и в более общем смысле – на отношении криминологов к женщинам. Глава 3 посвящена женской сексуальности и тому, как женская физиология влияла на отношение криминологов к женской преступности. Прослеживая изменения и преемствен-

ность по обе стороны революционного разрыва, в этой главе я подчеркиваю существовавшее внутри криминологического дискурса противоречие между представлением, что все более тесный контакт женщин с тем, что криминологи называют «борьбой за существование», неизбежно сблизит женскую преступность с мужской, и убеждением, что, в силу женской физиологии, женская преступность так и останется в рамках бытовой сферы. В главе 4 через понятие «география преступлений» показано, как по преступлению определяется классовая принадлежность человека, вне зависимости от места его совершения. То, что слово «сельский» подразумевало «примитивные» преступления, а «городской» – «продуманные», связывало женщин с селом и отсталостью и подчеркивало, как далеки

они от идеалов революции. В главе 5 связь между сексуальностью и классовой принадлежностью раскрыта через подробное рассмотрение детоубийства, самого «типичного» и возмутительного женского преступления. Для криминологов детоубийство воплощало в себе крестьянское сознание женщин, их физиологические слабости и неспособность жить по-новому, по-советски. В том, как специалисты обсуждают детоубийц, особенно отчетливо проявляется истинное отношение общества к женщинам, к роли семьи, к сущности и целям культурной революции и к тому, как понималось должное советское поведение и как оно навязывалось и женщинам, и мужчинам в этот переходный период.

Российские и советские криминологи основывали свои выводы касательно женской преступности на личных беседах с заключенными, а также на судебной, тюремной и милицейской статистике. В статьи о преступлениях для журналов, газетной хроники и научных монографий они часто включали подробные биографии преступниц, приводя обстоятельства личной и семейной жизни, которые повлияли на формирование личности правонарушительницы и толкнули ее на путь преступления. Чтобы собрать эти данные, они проводили анкетирование арестованных женщин и подробную психиатрическую оценку состояния наблюдаемых заключенных. Кроме того, при описании тенденций в уровне преступности криминологи оперировали самыми разными статистическими данными. Отдел моральной статистики в составе Центрального статистического управления (ЦСУ), созданный в 1918 году и одно время возглавляемый криминологом М. Н. Гернетом, вел учет преступлений и самоубийств по всей РСФСР и всему СССР³². Криминологи дополняли официальную статистику данными, собранными внутри отдельных групп, – эти данные криминологические организации получали из местных судов и тюрем. Иногда цифры основывались на данных по арестам, иногда – по судебным слушаниям и вынесениям приговоров, иногда – на составе заклю-

³² О роли Отдела моральной статистики и развития статистики как дисциплины в поздние годы существования Российской империи и в раннесоветский период см. [Mespoulet 2001; Остроумов 1952; Pinnow 1998].

ченных. Неполнота, несистематизированность и разрозненность раннесоветской статистики не позволяет на ее основе восстановить точную картину уровня преступности. Однако эта статистика отражает тенденции в динамике преступности, которые криминологи выделяли и изучали. Иными словами, статистика отражала понимание криминологами того, какие проблемы стоят перед советским государством, и давала им необходимые научные данные для поисков решения этих проблем.

Некоторые из занимавшихся преступлениями ученых, речь о которых пойдет в этой книге, много публиковались и играли заметную роль в советском обществе, однако большинство из них оставались практически неизвестными. За вычетом одной-двух коротких публикаций, о них не сохранилось почти никаких биографических сведений, поэтому их научную биографию можно наметить разве что в самых общих чертах. Кроме того, в силу междисциплинарной сущности криминологии, невозможно определить ее интеллектуальную направленность в общем виде. В конечном итоге все ученые-криминологи были детищами своих исконных дисциплин. Там, где это возможно, приведены профессиональные и официальные регалии исследователей. Однако в тех случаях, когда отследить образование и официальную должность невозможно, термин «криминолог» применяется в качестве обобщающего, и тем самым соответствующий исследователь помещается внутрь более широкого крими-

нологического дискурса. Более того, использование термина «криминологи» как общего наименования тех, кто занимался исследованиями преступности, не имеет цели умалить или затушевать более чем существенные дисциплинарные и методологические различия между этими специалистами, скорее речь идет о том, чтобы поместить их профессиональную деятельность в сферу криминологии как общего подхода к научному изучению общества. Более того, при том, что подавляющее большинство специалистов по преступности составляли мужчины, к криминологическому дискурсу были причастны и некоторые женщины со специальным образованием. Однако что касается трудов женщин-криминологов, гендерная принадлежность в целом не влияет на их выводы – они, по большому счету, аналогичны выводам их коллег-мужчин³³. Это особенно справедливо в отношении ис-

³³ В числе женщин, работавших в области криминологии – дореволюционный врач и криминальный антрополог П. Н. Тарновская, психиатр А. Н. Терентьева, психиатр Ц. М. Фейнберг, экономист А. С. Звоницкая, психиатры А. Е. Петрова, А. Шестакова, С. А. Укше и А. Г. Харламова. Судя по профессиональной подготовке представительниц этой небольшой группы, у женщин было больше шансов преуспеть в этой области, если они получили образование в области психиатрии или медицины, а не юриспруденции. Единственное исключение из общего правила, что женщины-криминологи приходили к тем же выводам по поводу женщин-преступниц, что и мужчины-криминологи, представляет собой работа Т. Кремлевой [Кремлева 1929]. Кремлева исследует магазинные кражи в Москве и подходит к ним в чисто общественно-экономическом ключе, утверждая, что женщины крадут из магазинов в силу материальной нужды, а не из истерических побуждений и не под влиянием физиологического цикла. Она решительно настаивает на том, что западные исследователи, подчеркивающие сексуальную

следований женских правонарушений. При том что на протяжении всего переходного периода разные группы криминологов не могли прийти к согласию по поводу общих методов изучения преступности и подходов к нему, в анализе женской преступности присутствует единодушие, которого не наблюдается в общих рассуждениях. Этот анализ обнаруживает стойкость, непрерываемость и однородность отношения к женщинам, которые сглаживают противоречия как между разными дисциплинами, так и внутри криминологических дебатов³⁴. При этом, пристально рассматривая женские преступления, я не исхожу из того, что между мужской и женской криминальной мотивацией, равно как и между обоснованиями этих мотиваций, которые предлагают криминологи, существует кардинальное различие. Я также не ищу объяснений мотивов женских преступлений за пределами того, что уже предложено криминологами. Вместо этого я прежде всего пытаюсь установить, как именно понимание криминологами противоправных поступков женщин проясняет суть процессов революционных преобразований в течение переходного периода.

Итак, в своих рассуждениях я исхожу прежде всего из интересов и установок самих криминологов, изучавших жен-

природу магазинных краж, ошибаются. При этом ее статья является единственной работой по этому вопросу в советском контексте, соответственно, ее выводы нельзя сравнить с выводами кого-то из ее коллег-мужчин.

³⁴ Ф. Бернстайн также отмечает однородность профессионального дискурса в своей работе о народных советах по поводу секса. См. [Bernstein 2007: 16].

скую преступность. В большинстве случаев при анализе женской преступности профессионалы опускали или сводили к минимуму то, что связано с политической идеологией и политически мотивированными преступлениями (например, контрреволюционными) и стремились не приписывать преступницам политических побуждений. Женщины-контрреволюционерки порой попадали под арест, их судили, выносили им приговоры, однако криминологи их по большей части игнорировали, внимание их было сосредоточено на «обычных» преступницах, совершавших «женские» преступления, связанные с бытовой сферой. Такие преступления, часто совершавшиеся в исступлении и при отсутствии четких идеологических мотивов, подрывали легитимность советского правления более окольными способами. Ставя ребром вопрос об эффективности социальной и семейной политики, женские преступления выявляли недостатки в структуре советской системы и ставили под сомнение ее способность обеспечить гражданам обещанное равенство; обнажали имплицитные взгляды криминологов на женщин, показывали положение женщин в обществе и описывали жизненные реалии переходного периода как для женщин, так и для мужчин.

Конкретные примеры женских правонарушений, рассмотренные в этой книге, взяты прежде всего из опубликованных работ по криминологии. Эти научные монографии, журнальные статьи и газетные заметки из самых разных сфер – стати-

стики, социологии, психиатрии, медицины и публицистики — являются богатейшим источником сведений, позволяющих оценить отношение криминалогов к женщинам-преступницам и интерпретацию их поступков. Помимо опубликованных данных, я пользуюсь архивными источниками из основных московских хранилищ: они позволяют проследить развитие криминологии как дисциплины и динамику ее взаимоотношений с советским государством. При этом, во всех случаях, доступные источники, в силу самой своей сути, накладывают определенные ограничения на работу исследователя. Опубликованные работы криминалогов, основанные на их личных оценках отдельных преступников и статистических данных, заставляют смотреть на соответствующие события их глазами, тем самым выводя за рамки исследования голоса самих правонарушительниц и навязывая соответствующие выводы. Кроме того, архивные данные позволяют восстановить бюрократическую структуру криминологии, но не представить себе, что именно пришлось испытать женщинам, проходившим через судебную систему. Подробных протоколов судебных заседаний 1920-х годов сохранилось мало, архивные ограничения не позволяют получить к ним доступ. По этим причинам у меня нет возможности обращаться к непосредственным историям жизни и к переживаниям тех женщин, чьи судьбы являются предметом этого исследования. Соответственно, именно с точки зрения криминалогов я и рассматриваю те более общие тенденции, которые опре-

деляли криминологию как науку и судебную практику переходного периода, и те процессы взаимовлияния между представлениями об общественном положении женщин, идеологическими задачами и приоритетами государства и повседневными реалиями.

Часть первая

Развитие криминологии

Глава первая

Антропология, социология и женская преступность

Возникновение криминологии в России

Криминология как научная дисциплина возникла в России в XIX веке в качестве отклика на модернизацию и как составная часть этого процесса – исходным импульсом послужил растущий интерес представителей российской интеллигенции к точным и общественным наукам, с помощью которых они мечтали переустроить общество. Для образованных людей криминология была концептуальной основой, позволявшей объяснить, осмыслить и классифицировать социальные изменения в России рубежа веков. Хотя первые статистические исследования российской преступности появились еще в 1820-е, только после судебных реформ 1864 года и последующего систематического сбора и публикации

судебной статистики (начиная с 1873 года) возникла достаточно основательная эмпирическая база для исследований в области криминологии. Эти новшества в бюрократическом процессе и технологиях совпали с ростом озабоченности российских элит по поводу общественных беспорядков и подъема преступности – что было следствием стремительной индустриализации и урбанизации во второй половине XIX века и подпитывалось всплеском террора и насилия после 1905 года. Приступая к собственным научным изысканиям, российские юристы, статистики, социологи и врачи, интересовавшиеся вопросами преступности, обращались к опыту коллег с Запада, где статистические исследования преступности были уже развиты достаточно хорошо³⁵. Пользовались они и европейскими криминологическими теориями, адаптируя их под особые российские общественно-политические условия. Интерес к криминологии развивался параллельно созданию системно организованных гуманных пенитенциарных учреждений, основанных на западных моделях и ориен-

³⁵ «Свод статистических сведений по делам уголовным» – официальный свод российской судебной статистики, публиковался ежегодно с 1873 по 1915 год. Во Франции же, например, публикация официальной криминальной статистики началась еще в 1827 году, а первые исследования, основанные на этих сведениях, появились в начале 1830-х. См. также [Wetzell 2000: 21]. О законодательных реформах при царе см. [Kazantsev 1997; Коротких 1987; Wortman 1976]. Опасения по поводу взаимосвязи между урбанизацией, индустриализацией и преступностью, равно как и настороженное отношение к рабочему классу, уже ярко выражены в западноевропейской мысли конца XIX века. См., напр., [Johnson 1995; Jones 1971; Walkowitz 1992].

тированных на то, чтобы дисциплина и труд способствовали исправлению правонарушителей³⁶. Развитие российской криминологии в XIX веке свидетельствует о том, что представления об обществе и его будущем в России Нового времени зиждились на тех же основаниях, что и в Европе, однако с учетом уникальности российских условий³⁷.

Европейская криминология XIX века уходит корнями в философию эпохи Просвещения³⁸. Исследователи часто отсчитывают историю современной криминологии от опубликованного в 1764 году трактата «*Dei delitti e delle pene*» («О преступлениях и наказаниях») итальянца Чезаре Бонесана, маркиза Беккариа [Jones D. A. 1986: 5–6]³⁹. Рассуждения Беккариа строятся на либеральных идеях Просвещения касательно личной свободы и разума. Как человек, стремившийся оспорить произвольность абсолютист-

³⁶ См. [Adams B. E 1996; Schrader 2002].

³⁷ Ряд исследователей в последнее время провели сравнения российского и советского государства, в плане его целей и задач, как с модернизованными европейскими государствами, особенно после Первой мировой войны, так и с рационализмом эпохи Просвещения: в сталинском государстве в особенности они видят логическое завершение этих процессов. См. [Kotkin 1995; Hoffman 2003; Holquist 2002]. О развитии русской криминологии см. также [Beer 2008; Bialkowski 2007].

³⁸ См., напр., [Beirne 1993; Bierne 1994; Galassi 2004; Jones 1986; Mannheim 1960; Nye 1976; Pelfrey 1980; Radzinowicz 1966; Schafer 1969; Soman 1980; Tierney 1996; Wetzell 2000].

³⁹ О Беккариа и его вкладе в развитие криминологии написано много. См. напр. [Phillipson 1923; Mannheim 1960; Beirne 1995].

ского *ancient regime* и твердо веривший в главенство закона, он полагал, что четкие определения преступлений и соответствующих наказаний способны предотвратить преступные действия. Беккариа видел в преступнике рационально мыслящего человека, который тщательно взвешивает последствия своих действий. К началу XIX века из теорий Беккариа выросла так называемая «классическая школа» уголовного права, на которую и опиралась юридическая и пенитенциарная практика последующего столетия [Radzinowicz 1966: 7-14]⁴⁰.

Однако к концу XIX века в Европе начало складываться несколько новых «школ» криминологии. Эти свободные содружества ученых-единомышленников, среди которых особенно выделялись криминально-антропологическая и социологическая школы⁴¹, стали откликом на озабоченность по поводу роста преступности в ходе индустриализации, равно как и по поводу неспособности классической

⁴⁰ Идеи Беккариа легли в основу пенитенциарных реформ, проводившихся в Европе в первой половине XIX века. Например, представления английского философа Джереми Бентама о тюремной реформе и его знаменитая тюрьма «Паноптикум» тоже уходят корнями в мышление Беккариа, основанное на идеях Просвещения.

⁴¹ Подразделяя криминологов на «школы», я совершенно не обязательно имею в виду единство среди представителей каждой. Границы криминологических «школ» оставались проницаемыми, они развивались во взаимозависимости и взаимодействии, включали в себя самые разные взгляды и подходы. Кроме того, криминальная антропология и криминальная социология были в то время не единственными подходами к изучению преступности.

школы дать объяснение этому явлению. Широко распространенный страх перед «опасными классами», стремление изолировать преступников от здорового общества и возросший интерес к науке и эмпирике заставляли европейских социологов обращаться в поисках объяснений преступлений к «объективным» статистическим данным. Более того, нарастающая озабоченность по поводу того, как оградить общество от опасных элементов, заставляла ученых пристальнее всматриваться в личность преступника – в биографические, нравственные, физические и социальные факторы, которые влияли на ее формирование, – с целью найти объяснения преступлению и преступности. Взяв на вооружение основу эволюционной теории Дарвина, итальянская криминально-антропологическая школа, которую возглавлял Чезаре Ломброзо, занималась сбором антропометрических данных преступников: цель состояла в том, чтобы прояснить, почему определенные люди склонны вставать на путь преступлений. Социологическая школа, находившаяся под влиянием марксизма и исходившая из теорий Эмиля Дюркгейма (1858–1917) и Габриэля Тарда (1843–1904), пыталась объяснить существование преступности влиянием таких факторов, как общество и среда [Radzinowicz 1966: 30, 71–74, 83–89; Jones D. A. 1986: 9-10; Beirne 1993: 147; Horn 2003: 9-10]⁴².

⁴² Теории Ломброзо возникли в непосредственной связи с политическим контекстом его времени, особенно с процессом объединения Италии и стремлением

Многие специалисты по истории криминологии отмечают, что развитие криминологии как научной дисциплины носило кумулятивный характер, то есть каждая следующая школа возникала из предшествовавших подходов и вбирала в себя ранее созданные теории и методы [Jones D. A. 1986: 4]. Действительно, хотя криминально-антропологическая и социологическая школы предлагали разные интерпретации преступности и противопоставляли себя друг другу, выросли они из одного и того же контекста, основывались на одних и тех же посылах и разделяли общий интерес к практическому применению криминологических теорий в деле реформирования общества, а также во многом приходили к одинаковым выводам. При этом отчетливее всего сходство между этими двумя школами проявлялось в области исследования женских правонарушений: представители обоих подходов делали упор на женскую физиологию как основной фактор женской преступности и находили подтверждения тому, какое место женщине подобает занимать в обществе, в рассуждениях о женщинах-правонарушительницах.

В России имелись приверженцы как криминально-антропологической, так и социологической школы – они адаптировали европейские теории под нужды российского контекста. Тем не менее, к началу XX века криминально-антро-

объяснить разницу между северянами (к которым относился и Ломброзо) и на первый взгляд более страстными и агрессивными южными представителями новой нации. О Тарде, Дюркгейме и социальной теории см. [Hawthorn 1987].

пологическая школа, которую критиковали за приверженность теории врожденной девиантности и антропологическим измерениям физических свойств преступников, полностью себя дискредитировала как в России, так и за ее пределами. Из российской социологической школы выделилось «левое крыло», которое придерживалось радикально-социалистических взглядов на преступления и их причины. Эта группа, явно испытавшая на себе влияние тяги интеллигенции к реформированию общества, предпочитала общественно-экономические объяснения преступлений и утверждала, что осмыслить преступления можно только через исследование воздействия внешних факторов на правонарушителя. Впоследствии этот подход оказался лучше других совместим с большевистской идеологией, и в результате после Октябрьской революции левые криминологи стали ядром советской криминологической научной школы. Соответственно, ход развития криминологии в России XIX века служит основой для понимания ее успехов в раннесоветский период.

Далее речь пойдет о развитии теоретической базы европейской криминологии и об адаптации и применении этой базы в Российской империи в последние годы ее существования, с особым упором на теорию преступлений Ломброзо и реакции на нее в России. Будет показано, насколько сильное влияние труды европейских криминологов конца XIX века оказали на зарождающуюся криминологию в России, а также как общественно-политический контекст поздних

лет существования Российской империи обусловил развитие российской криминологии. Кроме того, будет рассмотрено возникновение теорий касательно женской преступности, выдвинутых Ломброзо, и их истолкование российскими криминологами в конце эпохи царизма; будет предпринята попытка осмыслить, какие факторы и представления влияли на трактовку этими учеными женской преступности. При общей приверженности социологическим толкованиям преступления и отказа от криминальной антропологии, русские криминологи, подобно своим европейским коллегам, использовали элементы самых разных подходов (в том числе и подхода Ломброзо) для толкования женской преступности. Они подчеркивали важнейшую роль женской сексуальности для определения женской девиантности, и их объяснения служили им подтверждением того, что сущность женской преступности объясняется традиционным социальным положением женщин и их репродуктивными функциями.

Криминально-антропологическая школа

Чезаре Ломброзо (1835–1909), одна из самых влиятельных и неоднозначных фигур в криминологии XIX века, основал так называемую итальянскую школу криминальной антропологии. Будучи клиническим психиатром и преподавателем Туринского университета, Ломброзо заинтересовался преступлениями в ходе своей работы с душевноболь-

ными пациентами и случаями безумия. В своих трудах он подчеркивал важность эксперимента, углубленного разбора и эмпирики, применяя к исследованию преступлений аппарат антропологии и вырабатывая для него «научные» принципы⁴³. Свои теории преступления Ломброзо изложил в сборнике «Преступный человек», который был впервые опубликован в 1876 году. Развивая антропологический подход к преступлениям, Ломброзо систематически изучал заключенных-мужчин, измерял их физические параметры и исследовал умственные способности. В итоге он выделил тип личности, который впоследствии обозначил как «прирожденный преступник» – человек, в котором, с его точки зрения, проявлялись атавистические, то есть примитивные и глубинные черты, которые превращали его в природного преступника, генетически предрасположенного к противоправным действиям. С точки зрения Ломброзо, природный преступник воплощает в себе «проявление исторического и эволюционного прошлого в настоящем» [Horn 1995:112]⁴⁴. Этого природного преступника, по сути сво-

⁴³ Что противоположно дескриптивной психологии, принципы которой отстаивал И. Кант (1724–1804). На Ломброзо также повлиял О. Конт (1798–1857) и его представления о позитивизме (см. сноску 32 ниже). См. [Wolfgang 1961: 363]. Ломброзо внес большой вклад в формирование антропологии как современной научной дисциплины в Италии. О Ломброзо см. также [Wolfgang 1961; Gibson 2002; Horn 2003; Pick 1989; Rennie 1978: 67–78].

⁴⁴ Несмотря на то, какой шум вызвали теории Ломброзо в международных криминологических кругах, его работа «Человек преступный» (Милан, 1876) в тот период так и не была переведена на английский язык. Расширенное и перерабо-

ей – примитивный подвид человека, Ломброзо описывал как «биологический атавизм», возврат к более раннему этапу эволюции, как индивида, для которого естественно поступать вразрез с законами и принципами современного цивилизованного общества⁴⁵. Такой подход кардинальным образом отличался от подхода классической школы, которая утверждала, что преступники – да, собственно, и все люди – принимают рациональные решения на основании собственной свободной воли. Отвергнув теорию свободной воли и взяв на вооружение эволюционные принципы, криминально-антропологическая школа пришла к выводу, что совершение противоправного действия не является вопросом личного выбора: каждый есть либо прирожденный преступник, либо нормальный человек.

Ломброзо вычленил свойства прирожденного преступника по результатам антропометрических замеров заключенных и правонарушителей. При этом не все физиологиче-

танное издание вышло по-английски в 1911 году под названием «Преступление, его причины и способы предотвращения». В 1887 году был опубликован перевод на французский, в 1887–1890 годах – на немецкий. Насколько мне известно, на русский главный труд Ломброзо был переведен только после распада СССР. Между тем, в 1889 году была выпущена книга: Щербак А. Е. Преступный человек [врожденный преступник – нравственно-помешанный – эпилептик] по Ломброзо. По-видимому, она содержала конспект основных положений книги.

⁴⁵ [Wolfgang 1961: 369–370]. Стремление Ломброзо объявить преступников «примитивными» или атавизмами отражает нараставшую тогда в Европе озабоченность по поводу сущности современного общества. Ломброзо пытался понять, почему некоторые люди в него не вписываются, и объяснить это их генетическими дефектами.

ские аномалии из длинного списка, составленного Ломброзо, можно приписать исключительно атавизму. Поэтому он дополнительно ввел понятие дегенерации (последствий воздействия социальных недугов, таких как алкоголизм, недоедание, туберкулез и венерические болезни, на душевное и нравственное здоровье) в качестве основополагающего для определения склонности к преступлению⁴⁶. Например, Ломброзо считал, что эпилепсия является паталогическим состоянием, которое нарушает нормальное неврологическое развитие и ведет к дегенерации, способной низвести до уровня прирожденного преступника. Хотя Ломброзо исходил из того, что прирожденный преступник представляет собой отдельный антропологический тип, он выяснил, что схожие свойства проявляются и у эпилептиков. В итоге он включил их в число дегенератов и, соответственно, таких же потенциальных преступников.

В итоге Ломброзо определил несколько типов преступни-

⁴⁶ Ломброзо использовал понятие дегенеративности для объяснения отклонений в развитии, препятствующих нормальному развитию плода, которые в свою очередь потом проявляются в качестве «врожденных» аномалий у преступников. Таким образом через дегенеративность он связывал внешние факторы, такие как алкоголизм и другие заболевания (способные повлиять на развитие плода), с биологическими аспектами, представляя дегенеративность как «наследственное» состояние, способное ослабить будущие поколения и сделать их «преступными» [Gibson 2020: 20,25]. Многие исследователи занимались изучением понятия дегенеративности и его широкого распространения в кругах европейских элит в конце XIX века. См., напр., [Beer 2008; Chamberlain, Gilman 1985; Drinka 1984; Harris 1989; Pick 1989].

ков, помимо прирожденных преступников и эпилептиков: преступники по страсти, преступники-истерики, случайные преступники, псевдопреступники, криминолоиды, закоренелые преступники. Каждая из категорий отражает разный уровень атавизма и дегенерации; в некоторых имплицитно признается влияние среды и подразумевается, что в экстремальных обстоятельствах дегенерация способна довести «нормального» человека до преступления. При этом Ломброзо никогда не отказывался от идеи примата врожденных индивидуальных факторов, подчеркивая параллельные роли атавизма и дегенеративности в создании преступных типов⁴⁷.

Для некоторых русских интеллигентов конца XIX века теории Ломброзо выглядели в высшей степени привлекательно, в первую очередь благодаря их «научообразности». Его метод измерения физических свойств преступников стал эмпирическим базисом для криминологических исследований в тот самый период, когда научные принципы приобретали все больший вес в легитимации социальных наук⁴⁸. Многие русские специалисты видели в криминальной антропологии способ привнести научные методы в область юриспруденции, в которой многие десятилетия главенство-

⁴⁷ [Wolfgang 1961: 371; Jones D. A. 1986: 84; Radzinowicz 1966: 49–50]. См. также [Gibson 1982: 158].

⁴⁸ О развитии науки и научных принципов в России см. [Graham 1993].

вало мировоззрение классической школы⁴⁹. Например, Н. С. Лобас, врач, который долгие годы работал с преступниками в Сахалинской тюрьме, с одобрением констатирует, что

последователями уголовно-антропологической школы был внесен в работы естественно-исторический метод исследования. С этого момента классической школе уголовного права, поставившей во главу суждений о преступнике и о его преступной деятельности «свободную» и, притом, «злую волю», был нанесен смертельный удар. В этом огромная, неизмеримая заслуга Ломброзо, искупившая все его ошибки [Лобас 1913: 11].

Классическая школа уголовного законодательства утверждала, что в сознании преступника может присутствовать злая воля, которая проявляется, когда человек перестает различать допустимое и недопустимое поведение или оказывается не способен понять разницу между добром и злом. Лобас, однако, отмечает, что миллионы людей боролись за выживание в далеко не идеальных обстоятельствах и при этом не совершали преступлений. Соответственно, заключает он,

⁴⁹ Российские сторонники Ломброзо издавали два журнала: «Архив психиатрии, неврологии и судебной психопатологии» (1883–1899) под редакцией П. И. Ковалевского и «Вестник психологии, криминальной антропологии и гипнотизма» (впоследствии – «Вестник психологии, криминальной антропологии и педологии», 1904–1919) под редакцией В. М. Бехтерева. Бехтерев, Тарновская, Тарновский и Дриль наряду с прочими участвовали в Международных конгрессах по криминальной антропологии, которые периодически проходили в Европе с 1885 по 1906 год. См. [Engelstein 1988: 133].

вполне естественно искать причины преступности не только в тех или иных жизненных условиях, окружающих данную преступную личность, но и в ней самой, в несовершенствах ее психофизической организации, *не позволяющих* ей избирать тот путь, каким идут все [Лобас 1913: 12–13].

При таком подходе получается, что на преступление человека толкает не злая воля, а, скорее, нечто, органичное для его личности, изначально присущее его физиологии. Сочетая элементы дарвиновской теории эволюции с «научными» статистическими данными, полученными посредством антропометрических измерений, криминальная антропология давала объяснения неискоренимости преступной деятельности и склонности к ней определенных лиц. Она оправдывала изоляцию преступников от общества и предлагала способы защиты общества от криминальных элементов, особенно в контексте роста преступности, насилия и терроризма, с которым Россия столкнулась в первые годы XX века⁵⁰.

Криминальная антропология позволяла своим последователям найти научное обоснование насущной проблемы потенциальной криминализации масс. Например, П. Н. Тарновская (1848–1910), основываясь на криминальной антропологии, призывала к реформированию общества через улучшение биологии человека. Тарновская – профессиональный врач и активный член международных крими-

⁵⁰ О терроризме и насилии в начале XX века см. [Geifman 1993].

нологических кругов – вместе со своим мужем, доктором В. М. Тарновским, являлась пылкой поклонницей Ломброзо. Она даже внесла собственный вклад в его исследования женщин-правонарушительниц, снабдив его данными по женщинам-убийцам в России. Тарновская отмечала: «Криминальная антропология стремится выяснить обездоленность преступника изучением его физических и нравственных, приобретенных и наследственных недостатков и отклонений» [Тарновская 1902: 497]. Она полагала, что задачи криминальной антропологии состоят

в выяснении общих биологических оснований все более и более увеличивающегося числа преступлений; в указании ближайших причин, обуславливающих появление на свет людей, наиболее расположенных к преступности <...> и в изучении мер, могущих предотвратить наклонность к совершению преступлений [Тарновская 1902: 498].

Тарновскую прежде всего интересовали биологические аспекты криминальной антропологии, она подчеркивала, что исследование наследственных криминальных черт является лишь частью более широкой области изучения человеческого развития и эволюции. Более того, Тарновская видела в исследовании преступлений важнейший элемент социальной гигиены и «ближайшую цель этой новой отрасли биологии» [Тарновская 1902: 498]⁵¹. Так, согласно Тарновской,

⁵¹ Несмотря на свой энтузиазм по поводу трудов Ломброзо, Тарновская во мно-

изучение преступлений является обязательным шагом на пути внедрения социальной гигиены и достижения социального благополучия. В силу своей прямой связи с биологией, криминальная антропология способна прояснить причины преступлений и помочь в разработке мер их предотвращения, прежде всего поскольку позволяет вычислить тех, кто по природе своей предрасположен к преступным действиям, то есть прирожденных преступников. В результате криминальная антропология вошла в область социальных наук, тесно связанных с сохранением здоровья социального организма и социума.

При этом даже самые ярые последователи Ломброзо считали необходимым адаптировать криминальную антропологию под российские условия. Например, Д. А. Дриль (1846–1910), неколебимый приверженец криминальной антропологии, считал, что при рассмотрении как личностных, так и общественных факторов преступления теории Ломброзо применимы лишь до определенной степени. Видный криминолог, юрист и преподаватель российского права, Дриль некоторое время работал в управлении воспитательно-исправительных учреждений Главного тюремного управления и юрисконсультom в Министерстве юстиции. Он много трудился и на научном поприще: преподавал на юридическом

гом отходила от его положений, особенно в своем нежелании считать женское сексуальное влечение патологией. О понимании Тарновской криминальной антропологии и ее взглядах на проституцию см. [Engelstein 1988: 137–152].

факультете Московского университета и в Психоневрологическом институте в Санкт-Петербурге, много писал на темы преступности и криминологии⁵²

⁵² Особенно важна была деятельность Дриля в области преступности несовершеннолетних. См. [Дриль 1884–1888]. Рассуждения в этой работе построены на теории дегенеративности, автор утверждает, что на нравственное и физическое здоровье детей влияют как наследственные факторы, так и среда. О Дриле и его роли в России см. [Эминов 1997: 105; Остроумов 1960: 286; Гернет 1890–1904]. О трактовке Дрилем ломброзианской теории см. [Beer 2008: 104–108, ПО, 115–121]. См. также [Bialkowski 2007: 193–245].

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.